

Анна Агнич

# НАТЮРМОРТ С СЕЛЁДКОЙ И БЕЗ



КНИГА РАССКАЗОВ

Самое время!

Анна Агнич

# **Натюрморт с селедкой и без**

«ВЕБКНИГА»

2022

**Агнич А.**

Натюрморт с селедкой и без / А. Агнич — «ВЕБКНИГА»,  
2022 — (Самое время!)

ISBN 978-5-9691-2284-0

«Моя задача не объяснять действительность, а описывать ее, как она есть», — уверяет автор. Поверишь, начнешь читать — и сам не заметишь, как из реального мира тебя перенесет в вымысел, в зазеркалье. «И это мой мир, он настоящий, я в нем живу», — подтверждает один из героев. Мир этот может оказаться планетой, которую придумала девочка, или высохшим колодцем, где спокойно течет счастливая жизнь и люди не знают, что такое голод. Размывается, исчезает грань между мечтой и действительностью, выдумкой и страшной правдой. Анна Агнич — талантливый мастер, она точна в выборе слова, правдива в деталях, ее цвета и оттенки строго выверены. Чувство языка не изменяет ей, кем бы она ни предстала: ребенком или взрослым, ученым или художником, писателем или драконом. И читатель догадается, кто герой рассказа «Я — ангел»: это и есть автор, искусный штукать, ведь писатель — это творец. Анна Агнич родилась в Харькове, жила в Киеве, Москве, Нью-Йорке, Бостоне. Там же был издан сборник «Девочка в окне». Ее рассказы и повести печатались в журналах России, Украины, Израиля, Канады, США. Свою новую книгу Анна Агнич, к сожалению, не увидит — ее не стало в 2019 году.

ISBN 978-5-9691-2284-0

© Агнич А., 2022  
© ВЕБКНИГА, 2022

## Содержание

Елена Катишонок. Печаль моя светла, или Still Life	6
Между прошлым и будущим	9
На смерть поэта	9
Мессендорф	11
Конец ознакомительного фрагмента.	21

**Анна Агнич**  
**Натюрморт с селедкой и без**

© А. Агнич, 2022

© «Время», 2022

## Елена Катишонок. Печаль моя светла, или Still Life

Привычный прошлый век, февраль 91-го, непривычный и чужой Нью-Йорк, мой третий день в Америке. Встречаюсь с Аней: нас познакомила – заочно – общая подруга. Смотрю и слушаю, не скрывая восхищения: стройная женщина с очень спокойным улыбчивым лицом и бровями вразлет, она ведет себя в американском городе так уверенно, словно живет здесь давным-давно. Для меня, «на новенького», это и было давно, хотя их семья приехала меньше года назад. Идем по улице, заходим в магазин, и моя новая приятельница ровным голосом обращается к человеку за прилавком: «Простите, я не знаю, как называется эта вещь, но хотела бы посмотреть поближе...» Четкий английский, доброжелательная улыбка и такая спокойная уверенность в себе и в окружающем мире, новом для меня, ошеломляют: я никогда не смогу чувствовать себя в Америке так непринужденно. Потом у Ани дома мы пьем кофе. Я устала, подавлена новизной и обилием впечатлений, как вдруг она говорит: «И мне было примерно так же, я ходила в музей. Смотрю на знакомую картину: виноград, сыр и дичь, а рядом кувшин с вином. Читаю: Still Life. И под другим натюрмортом – то же самое. Знаешь, я поняла: действительно, “все еще жизнь”, то есть – жизнь продолжается, понимаешь? Я тогда не знала, как называется “натюрморт” по-английски». И негромко смеется.

Как, откуда догадалась она о том, что мучило меня – в первый день, когда мы встретились? Я с радостью написала бы: встретились и подружились, но – нет, для дружбы нужны были «разгон» и время, а мы расстались вечером того же дня. Осталось в памяти милое, спокойное лицо, словно с картины Сурбарана «Отрочество Мадонны», с крылом темно-каштановых волос вдоль щеки. Запомнился голос, по-украински певучий, и плавное движение руки, когда Аня протянула мне записку с номером телефона.

Через несколько дней наша семья переехала в Бостон, однако Ане я позвонила не сразу: нужно было вживаться в свою still life. Кроме того, я знала, что человек она очень занятой. Кем только не приходилось работать: сиделкой у пожилых людей, секретарем в нью-йоркском колледже, консультантом по трудоустройству новых эмигрантов, программистом... Помимо работы, организовала и вела в Бронксе русский клуб для вновь приехавших. А дома семья, забота о детях и матери.

Звонки были редки, но связи мы не теряли: встретились опять, когда в Нью-Йорк приехали наши общие друзья. Они оказались в центре внимания, как и я полтора года назад; Аня словно отступила на несколько шагов назад, оставаясь в тени. Спокойно, незаметно появлялась она – и снова отступала в тень, уступая место другим. Она делала это ненавязчиво и умело, всегда находясь близко, рядом, но как-то на втором плане. Обернешься – и встретишь ее спокойную улыбку, чуть приподнятые брови, словно ответ на незаданный вопрос: «Я здесь». Я неизменно вспоминала: still life – и улыбалась в ответ.

...Пухла от новых имен и адресов моя записная книжка, шло время. «Много воды утекло» – говорят в таких случаях, и не сразу понимаешь, что утекает не вода – время. Когда в очередной раз я позвонила Ане, казенный голос в трубке сообщил, что номер недействителен. Переехали, наверное; в Америке люди мобильны, редко оседают на месте надолго. Переехали, конечно; в середине жизни другие варианты как-то не приходят в голову – слишком еще сильна и надежна биологическая защита.

Время продолжало течь, а в 2014 году меня пригласили выступить на «Бостонских чтениях». К моему стыду, я ничего про «Бостонские чтения» не знала. Из сайта «Бостонских чтений» запомнились две фразы: «Вход всегда бесплатный, выход тоже» и «Приходите, компания собирается хорошая!» Согласитесь, это располагает.

Приехав с друзьями в пригородный дом, мы спустились в подвал, специально оборудованный для выступлений. Хозяева – милая пара, всех встречали радушно и тепло. Второе

поколение – сыновья – занимались технической стороной: съемка, звук. Это было мое первое выступление в Бостоне, и лица вокруг, а потом в зале, сливались в одно облако; старалась запомнить имена – и тут же забывала; спасибо, подруга подсказывала.

Во втором отделении был «открытый микрофон», читали стихи – хорошие стихи... Уют и непринужденность, полное отсутствие снобизма – впечатление от первого вечера осталось навсегда. Расходиться не хотелось. Я узнала, что клуб организовала в прошлом году Анна Агнич, хозяйка этого гостеприимного дома, и весь формат «Бостонских чтений» был продуман ею до мелочей. Очень захотелось расспросить подробней, но силуэт Анны мелькал то здесь то там, она знакомила новых гостей, откликалась на вопросы, успевая ловко менять тарелки, пластиковые стаканчики, все время оставаясь на втором плане. Вскоре гости начали посматривать на часы и прощаться. Мы вышли в прохладный апрельский сумрак, и хозяйка улыбнулась, плавно взмахнув рукой. Темно-каштановые волосы закрыли часть лица, поднятую бровь, чистый высокий лоб. Что-то ворохнулось в памяти – постоять бы еще немного, вот-вот вспомнится. Гости выходили один за другим, меня ждали.

Уже на шоссе, когда машина мчалась на полной скорости, я воскликнула: «Сурбаран!», испугав друзей. И тут же набрала номер телефона дома, из которого мы вышли минут десять назад. Анна отозвалась тем приветливым, милым голосом, который я по-настоящему вспомнила только сейчас. Я сбивчиво заговорила о встрече в Нью-Йорке, о моем приезде – «помните, тогда, в 91-м?...» Обращаться на ты не получалось: миновало больше двадцати лет не-общения, попробуй переступи; напомнила still life.

...Так мы «познакомились» второй раз. Выяснилось, что «Анна Агнич» – это псевдоним, а что мы обе не узнали друг друга, совсем не удивительно: спасибо, если зеркало признаёт через столько времени.

Анна Агнич родилась в Киеве в 1952 году. Пластичная, она занималась в балетной школе, но увлеклась... геологией. Позднее руководила кружком юных геологов, водила геоморфологические экспедиции. Влюбилась в спелеологию: вместе с так называемыми трудновоспитуемыми подростками открыла несколько новых, не известных раньше пещер и картографировала их. Участвовала в поисковых и спасательных работах в Карпатах и на Кавказе, читала лекции от общества «Знание» о древнерусских летописях, что требовало глубокого знания предмета и высокой эрудиции. Закончив Киевский политехнический институт, Анна работала инженером-электронщиком и программистом, а позднее бизнес-аналитиком. «Я все могу, если захочу!» – часто говорит одна из ее героинь. Из Нью-Йорка семья в 2005 году переехала в Бостон – оказывается, мы жили на расстоянии часа друг от друга!

Анну Агнич хорошо знают на интернет-сайтах, она неоднократно была призером и победителем конкурсов на лучший рассказ. Ее жанр – миниатюры, рассказы, повести – сплав трезво описываемой действительности и фантастики. Автору удается балансировать на зыбкой грани двух миров, реального и воображаемого. Но что такое фантастика, как не творческое преломление вот этой осязаемой реальности? Дерево на берегу отражается в воде перевернутым деревом, но зыбь от ветра превращает его крону то в голову Медузы Горгоны, то в осьминога, то в невиданную, никем не описанную планету в темной галактике воды – и создает новый мир. Рассказ «Гамбит с вулканом» удостоился высокой оценки Бориса Стругацкого, который принял решение напечатать его в альманахе «Полдень, XXI век». Рассказ появился в январском номере 2013 года.

...Нас многое сближало: книги, друзья, – но более всего, пожалуй, требовательность к тому, что выходит из-под пера. К своим текстам она подходила очень придирчиво, в который раз переписывая то, что казалось законченным. Ее рассказы печатались в журналах, газетах и сборниках в России, Украине, Израиле, Германии, Канаде и США, всего было не менее сотни публикаций, но как тщательно, придирчиво работала над языком и стилем! В 2016 году бостонское издательство выпустило сборник ее рассказов «Девочка в окне», но презентации

на «Бостонских чтениях» не последовало: Аня не допускала никакой саморекламы. Микрофон предоставляли всем, но сама она подходила к нему только чтобы сделать объявление.

Чуткий, тонкий и терпеливый слушатель, она не любила говорить о себе – ни тогда, в далеком 91-м, ни потом. Всегда на втором плане, в тени – родных, друзей, близких. А наедине с компьютером погружалась в иную работу – составление альманаха поэзии «Бостонские чтения»: тридцать пять авторов, почти три сотни страниц, больше года напряженной работы, презентация. Это совсем иначе, чем работа над собственной книгой, говорила она, «и чувство сильнее, и праздник больше».

Увлечение спелеологией привело к скрупулезному расследованию – в 2015 году начала собирать материал для книги о спасении нескольких еврейских семей в пещерах Западной Украины во время Холокоста. Встречи с выжившими людьми, их потомками, поездки в Украину, спуск в те самые пещеры – все это требовало много сил, огромной энергии. Богатейший документальный материал – фотографии, записи, рассказы людей, проживших под землей, без солнечного света – как об этом написать? Анна дважды рассказывала историю «Тайны украинских пещер» в Киеве, а в прошлом году провела несколько выступлений в Бостоне. Она спешила, торопилась рассказать как можно больше, понимая, что книгу написать не успеет.

«Что еще?.. – задумалась Анна во время одного из интервью. – Никогда не прыгала с парашютом, зато на озере Баскунчак помогала принять роды у коровы, а под Полтавой одно лето доила козу и разводила кур. В Париже у собора Нотр-Дам продавала жареные каштаны – правда недолго, минут десять».

Почему недолго? Да просто Анна с мужем вышли из Нотр-Дам, очень захотелось каштанов, а продавщица у единственного на площади лотка куда-то отлучилась. Решили подождать, спешить некуда, погода хорошая. Туристы подходили к лотку, обращались к Ане. Потом вернулась хозяйка, посмотрела на выручку и дала им каштаны бесплатно.

Очень хорошо вижу, как женщина с темными волосами легкой балетной походкой идет по Парижу, как шла на террасу навстречу гостям: улыбка на приветливом лице, прямая спина, рука делает плавный приветственный взмах.

На памятнике поставлена черточка между датами: Анна Агнич, 1952–2019.

И все же *still life*, думаю упрямо, жизнь продолжается. Здесь, в этой книге.



## Между прошлым и будущим

### На смерть поэта

Стихи я сочиняла... не помню с каких пор. Читать-писать еще не умела, а уже сочиняла. Вот записанное маминым почерком в толстой тетради:

Если бы звезды падали и сразу же замирали  
Маленькими фонариками, теплыми огоньками?  
Я их собрала бы утром и стала бы всем дарить...

Ну и в таком духе... А вот об ушедшем детстве, ностальгическое. Написано в зрелом возрасте десяти лет:

Как он был, однако, одинок,  
Тот ребенок в шубке тесноватой.  
Как он много понимал, однако...

Вот мне шестнадцать:

Столетний сон сосны – и сны ее семян  
Еще не весь уход – наполовину...  
Но в неподвижную волну луны  
Я руки окуну и снова выну...  
Как пахнут лунным холодом они!  
И осторожно – стайку душ чужих  
Бездонным пониманьем подманю,  
Как будто невозможное возможно.  
И снова обману – себя – и их.

Я сочиняла стихи в детстве, потом в отрочестве, потом в юности. Уже появились дети, я все сочиняла, ничто меня не брало. Муж ездил по командировкам, четверым иначе не прокормиться: сами понимаете – конец семидесятых, зарплата инженера.

Вот раз приезжает муж, мы вместе укладываем детей, сидим на кухне, курим. Я читаю, что написала, пока его не было:

Орудя глагольной рифмой,  
Я воздвигаю этот храм  
Для нужд своей любви. На суд  
Архивысокие арбитры,  
Являя плечи, не придут.  
Дырявый купол, стены косы,  
Но очень уж бедняжка просит  
Построить хоть какой-нибудь.  
Любовь моя устала очень  
И хочет спать, и хочет есть.  
И очень хочет, между прочим,

Мои стихи тебе прочесть.

И так далее. Муж слушает, спать не спит, даже есть не просит. Что-то хвалит, на что-то тактично морщится.

Заплакал малыш. Я иду, перепеленываю, поправляю одеяло старшему, возвращаюсь на кухню. Прикуриваю сигарету от газовой плиты и бормочу бездумно:

Перестроятся ряды конвоя  
И начнется всадников разъезд...

Мужа подбрасывает на табуретке. Физически. Он приземляется, приходит в себя и спрашивает:

– Это твое? Это ты... ты это написала?!

– Нет, дорогой. Это как раз не я.

Ну не слышал он этих стихов Пастернака до сих пор. Читать читал, а на слух – никогда, поэтому не узнал.

В тот вечер я осознала физическую силу поэзии: как две строки могут подбросить человека в воздух – и бережно опустить на табурет. Я поняла, что мне так не написать ни-ког-да.

С того вечера я перестала писать стихи. Совсем перестала. Как отрезало.

А до прозы я тогда еще не доросла.

## Мессендорф

Черная буханка ночи над горизонтом, тяжелая и плотная, как бородинский хлеб. Рыжая арнаутка луны, невесомые плетенки облаков. Сколько хлеба можно купить на пенсию? Здешнего американского, легкого, как поролон – пакетов четыреста. Настоящего, из русской пекарни – буханок двести. Переслать бы их в Донецк на шестьдесят с лишним лет назад, когда были война и голод, вот мама была бы счастлива. Так нет же, не перешлешь.

В Донецк он летает весной, в свой день рождения. Съездит в Макеевку, сводит бывших сотрудников в ресторан, раздаст друзьям сувениры, внукам – игрушки, детям и бывшим женам – деньги. Сходит на кладбище, посидит на лавочке у отца с матерью, покрасит серебрянкой ограду.

Вечерний бриз приносит с океана запах тмина. Да, так и должен пахнуть бородинский. Толя дышит глубоко, чтобы выветрить запах вина. На брайтонской набережной кафе работают допоздна, здесь всегда можно выпить у стойки. Водку он пьет редко, хватает стакана красного полусладкого вечером. Иногда жена сама наливает, а иногда пугается, что он сопьется, и начинает таскать его по врачам, по гипнотизерам-шарлатанам. Эх, Оля-Олечка, не жила ты в шахтерском городе, не видала, как люди спиваются. Стакан красного – это так, для настроения.

Толя достает аптечную баночку, отковыривает крышку, высыпает на ладонь немного черного чаю. Ветер сметает чайники на доски набережной. Ничего, в баночке есть еще. Пожевать чайных листьев, они убивают запах вина – и домой, там Оля ждет, не ложится. Зайти еще только купить цветов – за углом круглосуточный магазин.

В первые месяцы в Америке искал любые подработки, посуду в ресторанах мыл по ночам, а жена у него без цветов не сидела. Мать, помнится, срезанных цветов не любила, называла зряшной тратой, говорила: «Без брюк, но с тросточкой в руке». И еще говорила: «Так они и жили, дом продали, а ворота купили». У нее на каждый случай находилась поговорка, но чаще всего она говорила: «Все ничего, лишь бы не было войны».

\* \* \*

Сорок третий год, двухэтажные бараки на окраине Сталино – так тогда звался Донецк. Керосинная лавка, немецкие мотоциклисты. За железной дорогой базар, оттуда Толя с мамой приносят хлеб, картошку, изредка шматочек сала или пол-литра молока на дне бидона.

В первое время как немцы заняли город, денег на базаре не брали, продукты меняли только на вещи. Потом стали принимать советские купюры и мелочь. В сорок втором немцы напечатали карбованцев, но мелкие деньги ходили прежние: монеты с советским серпом и молотом, желтые рубли, зеленые трехрублевки. Больше всего Толе нравились трешки: на них нарисованы красноармейцы с винтовками и в касках. Мама всегда давала ему полюбоваться, когда попадались трешки.

– Это они нас освободить идут, – бормотал Толя, разглаживая купюру на колене. – К нам они идут, все вместе, много их: раз-два, раз-два... и папа с ними!

Отец воевал на фронте, писем от него не было – да какие письма, оккупация же. Но мама все равно заглядывала в почтовый ящик и закрывала жестяную крышку осторожно, будто боясь потревожить зародыш будущего письма, незаметно зреющий в темноте у ящика внутри.

Ребята во дворе говорили: наши уже освободили Краснодар и Харьков. К середине марта земля посредине двора тоже освободилась, не от немцев, так от снега, и просохла немного, стало можно играть в расшибалочку. Шла первая в этом году игра. Толя пробежал мимо: мама послала на соседнюю улицу отдать долг, полтора рубля мелочью в завязанном на двойной узел носовом платке. Остановился посмотреть, и сам не понял, как развязал зубами платок и поста-

вил на кон все деньги. Риск был невелик, Толя бросал биту не хуже старших, хотя ему только что исполнилось семь. Но в тот раз не повезло: пришлый Рожа из бандитского двора с первого броска попал в казенку, сгреб выигрыш и повернулся уходить. Ребята его не пускали, кричали, что так не делают, пусть играет дальше! Рожа всех растолкал и ушел в свой двор. Туда соваться не стали, пошумели и принялись гонять в казаки-разбойники.

Толя с ними не играл. Домой тоже не шел, бродил по улицам, вглядывался в замусоренную землю – если хорошо искать, можно найти оброненные кем-то деньги. Даже помолился на всякий случай:

– Господи, если ты есть, пожалуйста, помоги мне найти полтора рубля!

Именно полтора – лишнего не просил, так скорее исполнится. Но денег на земле не было, и Толя бродил и бродил по улицам, тоскливо и долго, до самых сумерек. Он не боялся наказания – бить его некому, отец на фронте, а мать жалела.

Домой пришел, когда уже начинало темнеть. Стоял в дверях, смотрел в пол.

– Что, сынок? Не донес? Ничего, бывает. Бывает, и вошь залает. Умывайся да садись за стол, с утра ж не евши.

Сперва картоха без масла не лезла в рот, но скоро он разохотился и дочиста выскреб миску. На закуску мама дала полстакана простокваши. Сама не пила – в то время она вдруг разлюбила молоко, только вздыхала и говорила, что цены на базаре кусаются как бешеные. Толя представлял, как рычат и кусаются цены – раньше, до войны, это казалось смешным, но теперь думать об этом было совсем не весело. Даже на сытый желудок не весело, потому что голод все равно сидел внутри, просто временно спал, пока в довольном животе нежились картоха с простоквашей.

Вечером мать покопалась в шкафу, повздыхала и уложила в кошелку лучшее довоенное платье. Проснулся Толя рано, но матери не было – ушла на рынок. Сколько раз говорил, чтоб не ходила без него! Уже было попала в облаву, хорошо он тогда сумел ее вывести через заднюю стенку скорняжной лавки, там доски можно раздвинуть и вылезть, если кто не очень большой. Он знал все входы и выходы, с мальчишками облазил в районе каждый закуток.

Умываться не стал, все равно мать перед обедом заставит мыть руки, лицо и уши. Ладно лицо и руки, но уши зачем? Они и так чистые. На столе под полотенцем лежал завтрак – горбушка черного хлеба, посыпанная солью. Хотел сразу не съедать, растянуть на подольше, но хлеб кончился, еще когда Толя переходил двор. Он вышел на пустую улицу, побежал в сторону базара. На полдороге встретил соседку, она шла и подвывала на ходу, платок съехал на сторону, узел волос распустился, космы свисали по плечам. Увидела Толю, заголосила громче. Он еле смог разобрать, что на рынке облава, забрали всех, кроме стариков и калек. Забрали, оцепили и повели на вокзал – а там уже стоят вагоны.

Он побежал к железной дороге, издали слыша крики и собачий лай, и даже одну автоматную очередь. Поднырнул под оцепление, нашел в толпе мать, схватил за руку, потащил к вагонам – может, удастся пролезть под ними и вылезть с другой стороны или еще уйти как-нибудь. Уйти не получилось – немцы охраняли поезд плотно со всех сторон. Людей загнали в теплушки и повезли в Германию.

Потом, уже взрослым, Толя пытался вспомнить, как их везли, – и не мог. У мамы тоже не спросишь, не любила она об этом говорить. В семье был негласный договор: не вспоминать о Германии, будто они там никогда не бывали.

\* \* \*

Высадили их на станции, Толя не знал на какой, не умел тогда читать по-немецки. Запомнилась баня, резкий запах измятой одежды – дезинфекция. Поселили их в бараке, потом привели в какое-то большое помещение и выстроили в ряд. Они стояли, а вдоль ряда ходили хозя-

ева, бауэры по-здешнему, присматривали работников. Маму с Толей выбрал толстый румяный бауэр, посадил в подводу и привез на ферму.

В чисто выбеленной комнате на столе парил чан картошки, вокруг сидели люди, человек пять, это были поляки. Мама как-то сразу научилась их понимать – в Толиной семье говорили по-русски, но украинский тоже знали, а польский и украинский похожи.

Работа была тяжелой, с раннего утра до вечера, но кормили сытно. Мать доила коров, убирала хлев, задавала скоту корм. Толя тоже работал: полел огород, кормил кур, чистил картошку. Поляки были веселые, смеялись, рассказывали всякие истории, учили Толю с мамой немецкому. Одна из полячек убирала у хозяина в доме, ей удавалось подслушать новости – через нее и узнали летом сорок четвертого, что советские войска вступили в Польшу. Мама заплакала, стала говорить, что наши вот-вот придут – скорей бы!

Утром все пошли на работу, а матери с Толей хозяин велел остаться. Сказал, ему не нужны такие работники, которые ждут не дождутся Красную армию. И зачем они нанимались в Германию, если не хотят тут быть? Он велел им садиться в подводу и повез обратно в распределительный пункт.

\* \* \*

Несколько дней прожили в бараке, потом их поставили в ряд вместе с теми, кого пригнали недавно. Толя посмотрел вдоль ряда: мамино лицо было глаже и розовей, чем серые после поезда лица оголодавших в оккупации людей. Он крепко держал маму за руку. В прошлый раз так не боялся – тогда он слишком устал, все было внове, ничего не понять, будто спал на ходу. Теперь ему было по-настоящему страшно: уже наслушался разных историй и знал, что их могут разлучить.

Чего он боялся, то и случилось: один бауэр выбрал маму, а его не захотел. Мама просила, обещала, что мальчик будет работать, никому не помешает, Толя вцепился в ее руку и орал. Собрались люди, поднялся шум, немцы спорили, что-то друг другу доказывали. Над Толей склонился старик, он повторял: «Их бин Ханс, их бин Ханс», – и показывал себе на грудь. Мама тоже стала Толю уговаривать, и в конце концов он понял, что его возьмет к себе этот старик по имени Ганс, он живет рядом с фермой, куда забирают маму.

У нового бауэра мама ухаживала за свиньями. Говорила, с коровами было лучше, но что было, то сплыло, а бывшее быльем поросло. И еще говорила: хорошего не стало – худое осталось, а худого не станет – что останется?

По вечерам Толя ужинал с семьей старого Ганса и бежал к маме, с разбегу перепрыгивая широкий ручей, разделявший фермы. Забирался на чердак, где спали работники, они с мамой обнимались, зарывались поглубже в сено и шептались, пока не засыпали, прижавшись друг к другу для тепла и утешения. Рано утром бежал обратно – мамин хозяин не любил, когда чужие болтались в его дворе.

В конце шестидесятых, когда мамы уже не было, а старшему сыну исполнилось восемь, Толя в бане тер мочалкой тонкие плечи сына, лопатки, похожие на куриные крылья, невесомые руки – и думал: неужели тогда, в Германии, я был таким маленьким? Совсем же ребенок.

На ферме он помогал по хозяйству, и еще оставалось время поиграть с младшей внучкой Ганса, Луизой. Она была не улыбочивой девочкой, пухлой и белокожей, похожей на куклу с тонкими желтыми волосами – Толя видел такую в витрине, когда Ганс брал его с собой в город на почту. Луиза бегала за Толей всюду, даже на скотный двор, хотя ей туда не позволяли ходить. Услышишь ее голос: «Анатолий! Анатолий!» – и вроде становится веселей.

Ее старший брат Вальтер донимал их обоих, норовил толкнуть, вроде нечаянно, или как-нибудь прицепиться. Драться не дрался – ему Ганс запрещал, грозил выпороть, а порки Вальтер

боялся. Гаже всего было, когда Вальтер назло ему обижал Луизу. Приходилось терпеть: не прогнали бы. И Толя сжимал кулаки и терпел, хотя пару раз чуть не сорвался.

Еще на ферме жили молчаливая жена Ганса и старшая внучка, семнадцатилетняя Марта. Они обе тоже работали: стряпали, убирали, доили коров, процеживали молоко. На молокозавод Ганс отвозил бидоны сам.

К сентябрю хозяйка фермы перешла на Толю старый шерстяной костюм Ганса, щедро подогнув ткань в рукавах и штанинах – на вырост. Ганс отвел Толю и Вальтера в школу. Маленькая Луиза стояла в воротах фермы и плакала.

\* \* \*

Школа оказалась просто большим домом, совсем другая, чем та, куда ходили ребята из Толиного двора в Донецке. Учитель посадил Толю на заднюю парту и велел не высовываться. Это не помогло – школьники подняли бунт. Больше всех разорвался Вальтер, он кричал, что никто не сможет его заставить учиться в одном классе с рабом.

Толя вернулся на ферму раньше времени и не хотел никому рассказывать, что случилось. Наутро старый Ганс надел парадный костюм, взял Толю за руку, привел на школьный двор и велел подождать. Вышел скоро, лицо у него было красным. Взял за руку влажной, дрожащей ладонью:

– Идем, Анатолий. Я сам тебя буду учить.

Зимы в Германии сырые, туманные, но в том году перед Рождеством ударил мороз. Ручей, разделяющий фермы, схватило льдом. Толя бежал к маме, разогнался прыгнуть, оступился – и упал в темную воду, проломив лед. Холод ощущался как ожог. Разгребая острые куски льда, выбрался из воды и побежал обратно на ферму. Заколотил в дверь, не чувствуя рук, его била дрожь, стучали зубы. Открыла Марта в ночной рубашке, волосы заплетены в две косы на ночь. Ловко раздела его, растерла шерстяной фуфайкой, завернула в одеяло и напоила горячим молоком со шнапсом. Он навсегда запомнил ощущение тепла и сонного покоя, что охватило его, восьмилетнего, завернутого в тяжелое ватное одеяло на заснеженной ферме в немецком селе Мессендорф.

\* \* \*

Весной сорок пятого, как только к селу подошли наши, мама взяла Толю и уехала домой. Не ждала, пока официально освободят, не слушала ничьих советов, а подхватила и в общей неразберихе поехала на восток – на попутках, на каких-то подводах, через Польшу и Львов. Толя болел, у него был жар, он плохо помнил, как оказался дома.

Их комнату в бараке никто не занял, кой-какую утварь сохранили соседи, а главное, их ждали письма от отца – целая пачка. Война с немцами кончилась, но шла еще другая война, на востоке, отец был там.

В Донецке Толя пошел в первый класс, потом сразу в третий. О Германии ни с кем в школе не говорил, соседи тоже не расспрашивали: понимали. Маму вызывали на допрос одиннадцать раз, следователи задавали одни и те же вопросы и наконец оставили ее в покое. От жизни на немецкой ферме остался только костюм старого Ганса, перешитый хозяйкой. Этот костюм был единственной приличной одеждой и в школу, и на праздник, Толя носил его до седьмого класса. Мама каждый год выпускала подогнутую ткань рукавов и штанин – до тех пор, пока выпускать стало нечего.

Умерла мама в шестидесятых, в июле, за неделю до своего дня рождения. Толя заранее купил подарок – шерстяную югославскую кофту, два часа простоял в очереди на солнцепеке.

А подарить не успел. Он был уже взрослым женатым мужчиной, но скучал по ней, как ребенок. Говорил:

– Она была такой человек, такой человек... – и замолкал, не мог продолжать.

Мама приходила во сне, всегда под утро, улыбалась издали, не приближалась, не давала себя обнять – и Толя плакал навзрыд, как маленький.

Просыпался, шел на кухню, курил, смотрел в окно. Возле цистерны с молоком собиралась очередь, приходила продавщица, звякали бидоны, в комнате хныкали дети: не хотели в школу. Он стоял и курил и не мог понять, как это: был человек – и нет.

Он не понимает этого и сейчас. Привыкнуть привык, а понять – нет, не понял. Непонятного вообще больше, чем понятного. Вот что такое время? Как его пощупать? Да и с пространством та же история, просто оно вещественней. Он умел на пальцах объяснить сотрудникам специальную теорию относительности, но то теория, а на самом деле непостижимы совершенно простые вещи.

О двух годах в Германии вспоминал редко. Когда-то мечтал, что приедет в Мессендорф нынешним – взрослым, высоким, овладевшим уважаемой профессией инженера, пройдет по городку, где один день учился в немецкой школе, навестит ферму, выпьет пива с Гансом, обнимет красавицу Марту и маленькую Луизу. Но со временем стало ясно: ни в какую Германию ему не выбраться – и он перестал об этом думать.

Дети выросли, жили отдельно. Умер отец. Звонила первая жена, жаловалась на нового мужа. Со второй тоже не складывалось. Ведь была же любовь, но как-то быстро все пропало, ушло.

С утра наваливалась необъяснимая тоска, и самой скверной в ней была именно необъяснимость. Пусто было все, пусто и бесцельно. Он напивался – помогало на время, потом делалось хуже.

Легче стало, когда родилась внучка. Брал ее, крохотную, на руки, наклонялся к макушке, вдыхал воробьиный запах детских волос, как обычно делают женщины. После работы шел к сыну, брал коляску, вез внуку в парк. Она спала в тени деревьев, он играл в шахматы. Если пицала, качал коляску, не переставая думать над ходом. Не позволял никому из чужих брать ее на руки – нечего тут грязными лапами. Пусть своих заводят, нечего тут.

Вечером, как обычно, выпивал стакан красного полусладкого, по выходным пил с друзьями – не спеша, под сигареты и разговор. Играл на трубе. Жизнь устоялась, перемен было ждать неоткуда. Весной девяностого поехал в санаторий сопровождающим, как ездил уже не раз, повез товарища, покалеченного на аварии в шахте. И там, в Крыму, встретил Ольгу.

\* \* \*

Курортные романы случались у него и прежде, но эта женщина была необыкновенной. В шахматы играла почти на его уровне, но так авантюрно, с таким находками, что дух перехватывало. Говорила умно, шутила дерзко, слушала с лестным вниманием, танцевала лучше всех и рассказывала удивительные истории о своих журналистских расследованиях. С первой же встречи он почувствовал в ней необычайную энергию: веселую, заразительную, привлекательную силу.

Ради нее, ради своей последней любви, он оставил работу, двух бывших жен, детей, могилы матери и отца и уехал в чужую страну, где у него никого не было.

\* \* \*

В Нью-Йорке, в русском районе у самого океана, ветер нес на берег соленую водяную пыль и желтый песок, по дощатому настилу набережной гуляли компании чистеньких ста-

ричков, ковыляли на каблуках надушенные дамы с презрительным выражением лиц, звонили велосипеды, спортивные мамы в шортах толкали коляски с большими колесами, моложавые бабушки оттаскивали внуков от железных мусорных бочек, выкрашенных зеленой краской. Оле нравилось подслушивать здешние разговоры. «Я его так кэрала, так кэрала, а он ушел...», «Каждую неделю покупаю баночку икры. Не могу в этом себе отказать. Просто не имею права!..», «И вот, когда меня в третий раз вызвали в кегебе...»

Летом работали в русском доме отдыха в Кастильских горах. С утра Толя чинил все, что ломалось – от дверных замков до электропроводки, потом чистил бассейн, а с десяти до пяти дежурил на спасательской вышке. Оля ставила спектакли с детьми отдыхающих. В «Красной шапочке» у нее был один волк и двенадцать шапочек: ну каждая же девочка хочет главную роль.

Примерно раз в два года Толя летал в Донецк – один, без Оли. Она копила деньги ему на билет и сама покупала подарки внучке: что-нибудь бархатное, с блестками. Двухтысячный год встречали в Париже, в ресторане с видом на Эйфелеву башню. В Тель-Авиве бывшие сотрудники устроили вечер, говорили о Толе восторженно. Оля слушала и кивала, будто все это знала о нем.

\* \* \*

Теперь, когда заграница сделалась достижимой, он чаще вспоминал немецкую ферму, где жил ребенком шестьдесят лет назад. Представлял, как приедет, пройдет по знакомым местам, перепрыгнет ручей на границе двух ферм, сходит на могилу старого Ганса, найдет Луизу и Марту. Они еще не старые, особенно Луиза. Узнают ли они его? Вспомнят ли? От этих мыслей билось сердце, как от трех чашек двойного эспresso.

В библиотеке искал Мессендорф на карте, не мог найти. Не было такого села – исчезло, испарилось, пропало без следа. Был город Мессендорф в Австрии, но мама, помнится, говорила, работали они неподалеку от Польши. Да и сам он знал, что Австрия тут ни при чем.

За поиски взялась Оля со свойственной ей энергией. Она связалась с архивами и музеями, с общественными организациями, где для нее писали запросы по-немецки и по-английски, и после года поисков нашла место, название которого помнил Толя. Село, оказывается, переименовали после войны. Теперь оно звалось Мезина и было не в Германии, а в Чехии, почти на границе с Польшей.

\* \* \*

В самолете Толя не мог ни спать, ни читать. Хотел попросить стюардессу принести вина, но вспомнил: у Оли период страха перед мнимым его алкоголизмом, так что придется потерпеть. Он закрывал глаза и видел ферму, темноватые чистые комнаты, скотный двор, старого Ганса, его семью. Прошлое становилось недавним, реальным, длящимся. Луиза, маленькая Луиза – как он, оказывается, скучает по ней. И Марта... милая славная Марта.

Если на ферме живет Вальтер – как он встретит, поможет ли найти сестер, покажет ли могилу Ганса и его молчаливой жены? Или не станет даже разговаривать? Можно тогда спросить соседей. Толя говорит по-немецки, язык не забылся за столько лет.

Из Праги добрались электричкой до ближнего к Мезине города. Толя узнал мощенную булыжником площадь, шпиль костела над крышами, разноцветные одноэтажные дома – в этом городе мало что изменилось. Оля углядела в витрине хрустальную вазу, захотела привезти ее в подарок дочке Алене – именно эту и никакую другую. Купили две почти одинаковых, они оказались дорогими и довольно тяжелыми для своего небольшого размера, но Толя никогда



не спорил с женой о покупках. Он только подумал, что когда вернутся в Прагу, надо найти цветочный магазин. Ваза есть, даже две.

В село, к самой ферме, ходил автобус. Им сказали, здесь всего несколько остановок, и они пошли пешком. Остановки были не городские, шли долго. Оле попадали камушки в босоножки, приходилось останавливаться. Толя приседал, расстегивал ремешки ее маленьких босножек, вытряхивал камушки, а она, стоя на одной ноге, держалась за его плечо.

Волнуясь, Толя описывал, что будет за той рощей, за тем домом – и каждый раз оказывался прав. Он хорошо помнил эти места. На полдороге повезло, поймали такси. Шофер не говорил ни по-русски, ни по-английски, ни по-немецки, так что Толя рукой показывал, куда ехать. Остановил такси там, где ручей подходил близко к шоссе. Вода текла в заросших травой берегах точно так же, как много лет назад. Спустились поближе к ручью. Толя сел в траву среди тонких берез, Оля – ему на ноги. Он никогда не позволял ей сидеть на сырой земле.

Ветки занавешивали их, затеняли солнце, деревья вокруг казались теми же, что росли тут когда-то. Хотя, наверное, старые умерли, а новые выросли и повзрослели.

Удивительно ясно чувствовалось мамино присутствие. Здесь она казалась ближе, чем даже на кладбище в Донецке.

– Мама была такой человек, такой человек... – сказал Толя и замолчал, не мог говорить дальше.

Оля положила голову ему на грудь и, кажется, уснула. Устала, бедная. Посидела немного, потом вздохнула, открыла сумочку, подкрасила губы, встала. И они, держась под руки, пошли к ферме старого Ганса.

С поля, огороженного кривыми жердями, внимательно, будто стараясь запомнить, смотрела грязно-белая кобыла с бельмом на одном глазу. Толя споткнулся на неровной дорожке, ведущей к дому, чуть не упал, схватился за каменный столбик ограды, вазы в сумке звякнули, но, кажется, уцелели. Раньше дорожка была гладкой – или он забыл. Нет, не забыл, он узнавал эти камни – и видел, как перекосило их и вздыбило время. Узнавал дубовую дверь под слоем новой краски – ту самую, в которую стучался морозной ночью, когда ему открыла красавица Марта.

Он стоял у ограды, к двери не шел. Дом плавал в глазах, менял очертания, изгибался, будто сквозь воду или неровное стекло. Оля прошла вперед и нажала кнопку звонка.

Дверь открыла стриженная старуха в грязном фартуке. По-немецки она не говорила, но довольно сносно объяснялась по-русски. Ее семья жила тут с конца войны, старуха не знала, куда делись прежние владельцы, не знала даже их имен. Приехал на мотоцикле сын, тоже ничего не мог сказать. Нет, не было в Мезине никакой немецкой семьи, никто и не слышал даже, чтоб здесь когда-нибудь жили немцы. Вот они – чехи, и все соседи чехи, а немцев нет. Это чешская земля.

Оля попросила разрешения войти в дом. Их впустили неохотно, не дальше гостиной, но этого было довольно: Толя увидел знакомую комнату, теперь она казалась ниже и тесней. Мебель была другой: тонконогая, легковесная, вышедшая из моды мебель семидесятых, и только в углу стояли старые часы в тяжелом полированном корпусе. Блестел золотом циферблат, за стеклом неподвижно висел маятник и две золоченые гири. Толя вполголоса сказал жене:

– Подойди, взгляни на часы. Слева на корпусе должны быть царапины крестом. Там, возле стенки. Немного дальше. Нашла?

Оля под напряженным взглядом хозяев провела пальцами по боковине часов. Оглянулась, кивнула. Царапины были на месте. Она поблагодарила хозяев, попрощалась за двоих: за мужа и за себя. Толя, обычно вежливый, молчал.

На улице было безветренно и жарко. В зените пела невидимая птица. Грязно-белая кобыла с бельмом посмотрела на них внимательно – и отвернулась.

– Царапины, – усмехнулся Толя, – это Вальтера работа. Хотел свалить на меня, так разве Ганса обманешь? Если б он хоть звезду нацарапал... Ну и пороли его! Визжал как свинья.

Толя не говорил никому – ни Оле, ни тем более детям, что его тоже, бывало, били. И первый бауэр, у которого мама ухаживала за коровами, и добрый Ганс. Не часто и не по прихоти, а за провинность: за опрокинутый бидон, хоть он и сам чуть не плакал, что пролил столько молока. И за разбитую миску. Но тогда порка была обычным делом, а сейчас... сейчас ни к чему об этом рассказывать.

На соседних фермах ничего не знали о семье Ганса, вообще не помнили, кто здесь жил. Или не хотели говорить. Толя точно знал, вся округа Мессендорфа была немецкой, все села и фермы. А теперь никого. Куда могли деться люди? Как вышло, что они были зачеркнуты, вымараны из жизни? Толя молча брел за женой от фермы к ферме, молча сел в автобус. Он уже что-то понимал, но еще смутно, еще не мог сказать этого даже себе.

Они вернулись в город, зашли на почту. Оля разговорила с пожилой чешкой, та хорошо понимала по-русски, в ее время в школе еще учили русский язык. В Чехии старшее поколение знает русский, а младшее – английский. Женщина неохотно сказала, что немцы ушли отсюда в сорок пятом году. Подробностей она не знала. Оля нашла музей, спрашивала, настаивала: где можно узнать, как найти семью Ганса, есть же какие-то документы, архивы? Но в музее тоже ничего не могли сказать. Или не хотели.

\* \* \*

Они приехали в Прагу и там, на Вацлавской площади, на втором этаже стеклянного книжного магазина, молодой продавец с серьгой в ухе сразу понял, что им нужно. Он принес недавно изданный альбом о депортации немцев, живших в Судетах несколько сотен лет. В написанном по-английски предисловии было сказано, что эта тема в Чехии была под запретом до самого недавнего времени, до середины девяностых годов. Если бы Толя приехал на несколько лет раньше, то ничего не узнал бы.

Он смотрел фотографии, читал по-английски подписи, описания убийств, изнасилований, погромов и пыток, видел тела, брошенные на мостовой. У немцев отобрали дома, их согнали в лагеря, запретили ездить на велосипедах, ходить по тротуару, посещать кино и рестораны, в магазины они могли входить только в определенное время. Они были обязаны носить на рукаве белый лоскут с буквой «К». Непонятно, почему «К», но какая разница... Их использовали как рабов на тяжелых работах, издевались и убивали на улицах просто так – за то, что немцы. Три с половиной миллиона депортированных, несколько сотен тысяч убитых. Или больше – об убитых точных данных нет.

Потом, уже в Нью-Йорке, он находил еще фотографии, вглядывался, искал знакомое лицо. Не нашел. И тогда ему стал сниться один и тот же сон. Обычно он снов не запоминал, и от этого сна наутро оставалась в памяти только дубовая дверь и как он, замерзая, коченея, окаменея, в нее стучит – но никто ему не открывает.

\* \* \*

Из книжного магазина на пражскую улицу вышли в сумерках.

– Олечка, – сказал Толя, – разреши? Мне нужно.

Зашли в первый попавшийся ресторан, официант принес бокал крепкого темного пива и к нему стопку водки. Потом еще. И еще. В тот вечер пиво с водкой Толю не брало.

Было понятно, что найти семью старого Ганса невозможно: Толя даже не знал их фамилии. Что с ними случилось, остались ли они живы? Страшно было думать о семнадцатилетней Марте, она была очень красивой девушкой.

В затылке давило, как в паровом котле, у которого забился клапан. Почему-то особенно мучило, что он ничего не знал, все эти годы воображал, как Ганс и его внуки благополучно живут на чистенькой ферме. Что изменилось бы, если б он знал? Непонятно почему, но что-то для него изменилось бы.

Наутро не хотелось открывать глаза, двигаться, вставать с постели. Оля заставила его одеться, силком напялила через голову свитер. Руки в рукава он продел сам. Она потащила его на улицу, и он пошел, не думая ни о чем, как бы не просыпаясь, не желая просыпаться, только чувствуя боль в затылке. Жена привела его в цветочный магазин, выбрала дюжину разноцветных роз, Толя молча уплатил. Пошли на Карлов мост. Было ветрено, Ольгин шарф развевался, хлестал их обоих по щекам. То хлестал, то гладил. Она остановилась у ограды, развернула розы.

– Толя, – сказала она с чувством, и ветер унес ее голос. – Толя, мы не знаем, где они, живы ли, и где могила Ганса. Давай цветы для них бросим в реку!

Это был сентиментальный, бессмысленный, актерский жест, и в этом была вся его Оля. Ей нужно действие, она не может без жеста.

Она высыпала цветы за ограду моста. Наклонилась, подобрала белую розу, упавшую на асфальт, бросила вслед за остальными. Толя почувствовал, как ослабело давление в затылке. Чего не могла сделать водка, сделал этот сентиментальный бессмысленный жест.

Он не умел молиться, но сейчас, на пражском мосту, просил о старом Гансе, его молчаливой жене, красавице Марте и маленькой Луизе:

– Господи! Если ты есть, прошу тебя, сделай так, чтобы они выжили тогда и ничего не случилось с ними плохого!

Нелепо было молиться о том, что было давно, но больше ничем он не мог помочь. Розы поплыли вниз по Влтаве – сначала вместе, сцепившись стеблями, потом рассеялись, разошлись. Если они не застряли в шлюзах, то может быть, несколько штук доплыли до реки Лаба. И может, хотя бы одна, растеряв по дороге лепестки, оставила Чехию и оказалась в Германии, где Лаба становится Эльбой.

\* \* \*

Ветер с океана задул сильнее, собирая бумажный мусор в недолговечные смерчи, наметая песок и чертя на досках брайтонской набережной переменчивые узоры. Раньше под настилом ночевали бездомные – идешь вечером, видишь под ногами свет фонариков в щелях. В прошлом году ураган засыпал песком пустоты между опорами, бездомные ушли в другие места.

В цветочном магазине было светло и тихо. Молодая продавщица, улыбаясь своим мыслям, разворачивала пакеты туго спеленатых роз, ставила в пластмассовые ведра, прятала в холодильник. Цветы облегченно расправляли зубчатые листья.

Толя выбрал одиннадцать роз, слегка сжимая пальцами бутоны, пробуя, крепкие ли – чем крепче, тем дольше будут стоять. Вспомнилось, как Алена, Олина дочка, говорила, что в хрустальных вазах из Мессендорфа долго не вянут цветы, даже капризные недолговечные розы. Она приезжала в прошлые выходные, и он, как всегда, смешил ее:

– Знаешь ли, Аленка, как выбирать цветы для женщины? Тут все зависит от фаз луны. Если растет – неси розы, тюльпаны, ирисы. Убывает – пойдут орхидеи, хризантемы, астры. А в полнолуние – все равно, что дарить. Ничего не спасет, все одно окажешься виноватым.

Алена звонила потом из машины, переспрашивала, что дарят на убывающей луне.

– Не помню, солнышко! Как придумал, так сразу и забыл.

Она смеялась – оценила шутку.

Продавщица, все так же неизвестно чему улыбаясь, добавила в букет пальмовых веток, обернула зеленой бумагой и обвязала собранными в пучок лентами разных цветов – в тон розам.

На улице ветер разыгрался всерьез, задувало так, что прохожие останавливались и отворачивались. На углу сильный порыв чуть не сбил с ног одинокую старушку. Толя бросил цветы, успел подхватить под руки, удержать. Старушка вырвалась, раздраженно дернув локтем, и поковыляла дальше, сжимая паучьими пальцами воротник пальто.

Толя смотрел вслед, пока она не свернула за угол – ничего, дойдет, за углом вроде тише. Что она бродит по ночам в одиночку, такая старая? И тут же подумал: да ведь он сам не намного моложе. Подобрал растрепанный букет, зажал подмышкой и пошел быстрее, почти побежал. Через пару десятков шагов пришлось остановиться: свистело в груди, не давало дышать. Совсем никуда стала дыhalка, и на трубе давно уже не дает играть, даже не взял трубу в Америку, оставил сыну. Как это мама говорила: «Старое дребезжит, новое звенит». Ганс говорил прямее и проще: «Alter ist ein schweres Malter».

Толя старался не вспоминать, насколько Оля старше его. Обычно ему удавалось не думать об этом, но сейчас он ясно увидел ее в больнице под капельницей, как было этой зимой. Она лежала, такая маленькая, на больничной койке с железными перилами, улыбалась через силу, и ее помада казалась очень яркой из-за бледного, в синеву, лица.

Он шел домой, наклонив голову, преодолевая давление ветра, зажав подмышкой растерявшийся лепестки букет, и не замечал, как бормочет, не слышал своего голоса за шумом бури и грохотом брайтонского сабвея:

– Господи, если ты есть, сохрани ее, пусть она меня переживет. Сохрани их всех, пожалуйста. Я так многих потерял, не могу я больше. Господи – если ты, конечно, есть, – извини меня, но больше я не могу.

\* \* \*

Умер Толя весной, через две недели после своего дня рождения, за пять лет до того, как в Донецке началась война. «Все ничего, лишь бы не было войны...» На какой стороне он был бы? Наверное, на той, где его сыновья. А если бы сыновья оказались по разные стороны?

Он не болел, не жаловался, просто в начале февраля лег, перестал вставать – и через два месяца умер. В свои семьдесят три он был вполне крепок, только легкие немного подводили. Нельзя ему было лежать, не вставая, он это знал.

Оля не оплакивала его, как не оплакивала никого из четверых мужей, как не горевала ни о ком и ни о чем. Слишком о многом пришлось бы плакать: сиротство, детский дом, голод, война, эвакуация, снова голод. Если оглядываться на прошлое, как жить в полную силу? Нет, не оглядываться, не сожалеть, от этого становятся слабыми. Она раздала Толины вещи, выбросила бумаги и стала жить, будто его и не было никогда.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.